

Андрэ Виоллис

Ромэн Роллан

1936 год, как сказал Луи Арагон, был подлинно юбилейным годом Ромэн Роллана. Вскоре после того, как прошла его семидесятая годовщина, отмеченная всеобщей любовью и уважением, мы услышали его призывы к «неделимому миру», слова, направленные против гитлеровской угрозы, и еще совсем недавно — его выступление в защиту Испании, в защиту Мадрида, «замечательного города, бывшего еще недавно одним из лучезарных очагов западной цивилизации», который агонизирует сейчас под градом бомб. К голосу Ромэн Роллана прислушивается все, что есть сознательного в мире. Не так давно Театр Ренессанс возобновил постановку его пьесы «Волки». И самого Ромэн Роллана мы увидели этой весной в Париже, в вечер, ставший вечером триумфа, когда он во время представления «14 июля» появился на сцене, встреченный приветственными возгласами восторженных зрителей.

Перед моими глазами он встает иным; я вижу его на берегу Леманского озера, в маленьком домике, прилепившемся к склону горы, где он живет уединенной и сосредоточенной жизнью. Было утро. В своей комнате, уставленной книгами, с окнами на озеро, Ромэн Роллан пробегал газеты, читал письма, и те, кто обращались к нему, поверяли ему свои сомнения, колебания, просили совета, моральной поддержки. Должно быть, об этих письмах думал он, медленными шагами прогуливаясь в саду с голыми деревьями, в слабых лучах зимнего солнца.

Дверь открывается — великолепная рыжеватая овчарка, прыгая, врывается в комнату. Вот и сам Ромэн Роллан. Он таков, каким я его представляла — высокий и тонкий, немного сутулый, в пастушечьем сером плаще, который падает складками. Я узнаю высокий лоб, аскетический профиль, в котором с глубоким благородством запечатлен его метущийся дух, чуть выступающий выразительный рот,

волевой подбородок. Но проходит мгновение, и под бровями, нахмуренными от постоянного напряжения мысли, я вижу только его глаза — цвета их я раньше не знала — глаза той синевы, которой отливают под солнцем ледник. Его ясный и острый взгляд то обращается к небу, то проникает в самую глубину сердца, раскрывая в нем все, что есть там самого лучшего, самого сокровенного. Эта пронзительность не колеблет его оптимизма. Разве не воспел он в «Жане Кристофе» людей несокрушимой веры, которые «знают жизнь и все же любят ее», и эту вечную доброту, которая, вопреки смерти и несправедливости, рассеивает мрак отчаяния?

Он слушает глазами, слушает с какой-то внимательной страстностью, и глазами же он часто как бы вопрошает, обращаясь к молодой женщине с ясным взором, — она всегда рядом с ним, всегда в нежной заботе стоит на страже его трудов и его здоровья.

Он говорит мало, у него тихий и выразительный голос, который иногда прорывается резкими нотами. Волевая сдержанность, скрывающая жар, не переставший пожирать его и вспыхивающий иногда высоким пламенем, влечет к нему, как к магниту, тысячи людей со всех концов света, людей, для которых Ромэн Роллан в течение двадцати лет был духовным вождем.

Он стал им с того времени, когда, возвышаясь над шквалом, высоко, как маяк, он имел мужество осудить войну и ее виновников и от имени посылаемого на убой народа, «всегда обманутого, всегда мученика», потребовать, чтобы положили конец бейне; когда он голосом, идущим прямо из сердца, не уставал призывать к братскому миру, без возмездий и репрессий, к такому миру, который, конечно, оградил бы нас от смертных опасностей, угрожающих нам теперь.

С тех пор так много других пророчеств и призывов доносилось к нам в часы сомнений и тревоги из этого мирного домика, приютившегося в горах! И в повседневных волнениях нашей жизни разве не придает силы и спокойствия сознание того, что великая совесть Ромэн Роллана неуслышно стоит на страже и вершит свой суд там, в символическом уединении, между зеркалом вод и белизной снежных вершин?